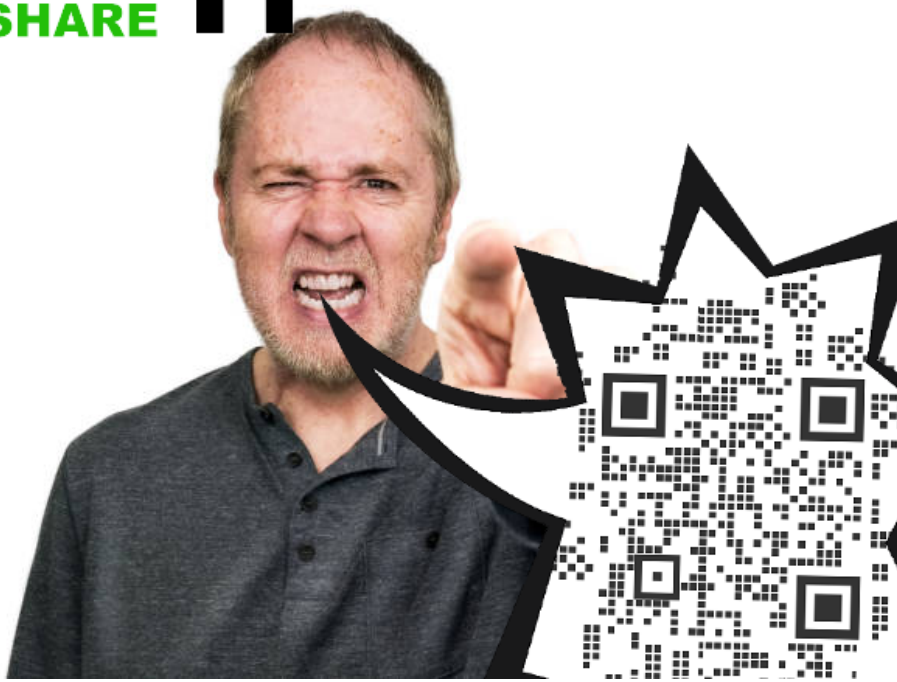
Иван Тургенев

# Литературный вечер у П.А. Плетнева

SHOUT
SHARE
IT



# Annotation

«…А впрочем – … довольно распространяться о собственной особе; буду говорить о других. Это интереснее и для читателя и для меня самого. Позволяю себе заметить, что отрывки из моих воспоминаний, которые я решаюсь представить на суд публики, следуют друг за другом в хронологическом порядке и что первый из них относится ко времени, предшествовавшему 1843 году…»


- Иван Сергеевич Тургенев
- Вместо вступления
- Литературный вечер у П.А.Плетнева
-
-
-
-
-
-
-
-

# Иван Сергеевич Тургенев
# Литературный вечер у П.А. Плетнева

# Вместо вступления

Около Пасхи 1843 года в Петербурге произошло событие и само по себе крайне незначительное и давным-давно поглощенное всеобщим забвением. А именно: появилась небольшая поэма некоего Т.Л., под названием «Параша». Этот Т.Л. был я; этою поэмой я вступил на литературное поприще. С тех пор прошло почти двадцать пять лет, и вот по поводу нового издания моих сочинений мне захотелось побеседовать с читателем и передать ему хотя частицу тех воспоминаний, которые накопились у меня в течение четверти века… Grande aevi spatium! [1] Не обещаю читателю ничего очень нового, ничего «пикантного»; предуведомляю его также, что многое должно будет остаться невысказанным или недосказанным. За причинами подобных недомолвок ходить недалеко. Все мы знаем, что многое изменилось с 1843 года, многое исчезло совершенно… но не все еще связи порваны между нынешним настоящим и тогдашним прошедшим; много лиц осталось в живых – и не одни лица уцелели. А правду, беспристрастную и всестороннюю правду, можно высказать только о том, что окончательно сошло со сцены. Потому я решаюсь ограничиться несколькими отрывками, несколькими отдельными главами из моих воспоминаний; внутреннее единство, я надеюсь, скажется в них; но от наружного единства, от последовательности рассказа отказываюсь заранее. Считаю, однако, нужным сообщить предварительно несколько данных, касающихся лично до меня и определяющих исходную точку моей деятельности.

Окончив курс по филологическому факультету С.-Петербургского университета в 1837 году, я весною 1838 года отправился доучиваться в Берлин. Мне было всего 19 лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей. Из числа тогдашних преподавателей С.-Петербургского университета не было ни одного, который бы мог поколебать во мне это убеждение; впрочем, они сами были им проникнуты; его придерживалось и министерство, во главе которого стоял граф Уваров, посылавшее на свой счет молодых людей в немецкие университеты. В Берлине я пробыл (в два приезда) около двух лет. Из числа русских, слушавших университетские лекции, назову: в течение первого года – Н. Станкевича, Грановского, Фролова; в течение второго – столь известного впоследствии М.Бакунина. Я занимался философией, древними языками,

историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера. В доказательство того, как недостаточно было образование, получаемое в то время в наших высших заведениях, приведу следующий факт: я слушал в Берлине латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бока – а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и греческую, которые знал плохо. И я был не из худших кандидатов.

Стремление молодых людей – моих сверстников – за границу напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его *земля* (я говорю не об отечестве вообще, а о нравственном и умственном достоянии каждого) велика и обильна, а порядка в ней нет. Могу сказать о себе, что лично я весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос… но делать было нечего. Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал – полоса помещичья, крепостная, – не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования – отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал… Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн – я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда.

Мне и в голову не может прийти осуждать тех из моих современников, которые другим, менее отрицательным путем достигли той свободы, того сознания, к которым я стремился… Я хочу только заявить, что я другого пути перед собой не видел. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться… Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы

лучше ее исполнить. И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. «Записки охотника», эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей; некоторые из них – в тяжелые минуты раздумья о том: вернуться ли мне на родину или нет? Мне могут возразить, что та частичка русского духа, которая в них замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете; знаю только, что я, конечно, не написал бы «Записок охотника», если б остался в России. Скажу также, что я никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которою порода, язык, вера так тесно её связывают. Не составляет ли наша, славянская раса – в глазах филолога, этнографа – одной из главных ветвей индо-германского племени? И если нельзя отрицать воздействия Греции на Рим и обоих их вместе – на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого – что ни говори – родственного, однородного мира на нас? Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, – нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец! Я сужу по собственному опыту: преданность моя началам, выработанным западною жизнию, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения, помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу.

А впрочем – «basta cosi» [2] ; довольно распространяться о собственной особе; буду говорить о других. Это интереснее и для читателя и для меня самого. Позволяю себе заметить, что отрывки из моих воспоминаний, которые я решаюсь представить на суд публики, следуют друг за другом в хронологическом порядке и что первый из них относится ко времени, предшествовавшему 1843 году.

*Баден-Баден. 1868 г.*

# Литературный вечер у П.А.Плетнева

В начале 1837 года я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашение на литературный вечер. Незадолго перед тем я представил на его рассмотрение один из первых плодов моей Музы, как говаривалось в старину – фантастическую драму в пятистопных ямбах под заглавием «Стенио». В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал, с обычным своим благодушием, это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду». Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, причем, однако, заметил, что во мне что-то есть! Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два и год спустя напечатал их в «Современнике», который унаследовал от Пушкина. Заглавия второго не помню; но в первом воспевался «Старый дуб», и начиналось оно так:

*Маститый царь лесов, кудрявой головою*
*Склонился старый дуб над сонной гладью вод, и т. д.*

Это первая моя вещь, явившаяся в печати, конечно, без подписи.

* * *

Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!» – засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до тех пор не удавалось встретиться; и как я досадовал на свою мешкотность! Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно

поклонялись ему. Поклонение авторитетам в последнее время подверглось, как известно, насмешкам, осуждению, чуть не проклятию. Признаться в нем – значит заклеймить себя пошлецом навеки. Но позволю себе заметить нашим строгим молодым судьям, что не худо бы сперва условиться в значении слова «авторитет». Авторитет авторитету – рознь. Сколько я помню, никому из нас (я говорю об университетских товарищах) и в голову не пришло бы преклониться перед человеком потому только, что он был богат или важен, или очень большой чин имел; *это* обаяние на нас не действовало – напротив… Даже великий ум нас не подкупал; нам нужен был *вождь;* и весьма свободные, чуть не республиканские убеждения отлично уживались в нас с восторженным благоговением перед людьми, в которых мы видели своих наставников и вождей. Скажу более: мне кажется, что такого рода энтузиазм, даже преувеличенный, свойствен молодому сердцу; едва ли оно в состоянии воспламениться отвлеченной идеей, как бы прекрасна и возвышенна она ни была, если эта самая идея не явится ему воплощенною в живом лице – в наставнике. Вся разница между теперешним и тогдашним поколеньями состоит, быть может, в том, что мы не стыдились нашего идола и нашего поклонения, а, напротив, гордились и тем и другим. Независимость собственных мнений, бесспорно, дело почтенное и благое; не добившись ее, никто не может назваться человеком в истинном смысле слова; но в том-то и вопрос, что ее *добиться* надо, надо ее завоевать, как почти все хорошее на сей земле; а *начать* это завоевание всего удобнее под знаменем избранного вождя. Впрочем, надо и то принять в соображение, что нынешние молодые люди имеют иные понятия, иные воззрения; если б, например, в наше время кто-нибудь из нашей среды вздумал требовать для молодого поколения «уважения», мы бы, наверное, на смех его подняли – мы бы даже обиделись; «это хорошо для стариков, – подумали бы мы, – а нам нужен только простор, да и тот мы себе завоюем». Кто тут прав, кто виноват – из прежних или нынешних, – решить не берусь; в сущности, стремления молодежи всегда бескорыстны и честны; и цели их остаются те же, только имена меняются. Быть может, при большей гражданской развитости современных юношей, при большей затруднительности их задач – они точно нуждаются в уважении.

* * *

Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз – за

несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей – и кудрявые волосы… Он на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом – вообще он казался не в духе – и отошел в сторону. Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу – и невольно повторял про себя:

*Недвижим он лежал… И странен*
*Был томный мир его чела…*

Но возвращаюсь к рассказу.

Петр Александрович ввел меня в гостиную и представил своей (первой) жене, уже немолодой даме, болезненного облика и очень молчаливой. В комнате, кроме ее, сидело человек семь или восемь… Все они теперь уже покойники; из всего собравшегося тогда общества – в живых я один. Правда, с тех пор прошло тридцать лет с слишком… Но в числе гостей были люди молодые.

Вот кто были эти гости:

Во-первых, известный *Скобелев,* автор «Кремнева», впоследствии комендант С.-Петербургской крепости, всем тогдашним петербургским жителям памятная фигура с обрубленными пальцами, смышленым, помятым, морщинистым, прямо солдатским лицом и солдатскими, не совсем наивными ухватками – тертый калач, одним словом. Потом – автор «Сумасшедшего дома», *Воейков,* хромоногое и как бы искалеченное, полуразрушенное существо, с повадкой старинного подьячего, желтым припухлым лицом и недобрым взглядом черных крошечных глаз; потом – адъютант в жандармском мундире, белокурый плотный мужчина с разноцветными (так называемыми арлекинскими) зрачками, с подобострастным и пронзительным выражением физиономии, некто *Владиславлев,* издатель известного в свое время альманаха «Утренняя заря» (ходили слухи, что подписка на этот альманах была в некотором роде обязательная). Далее: высокий и худощавый господин в очках, с маленькой головкой, беспокойными телодвиженьями и певучим носовым выговором, с виду смахивавший на статского советника немецкого происхождения – переводчик и стихотворец *Карлгоф;* офицер путей сообщения с несколько болезненным

темным лицом, крупными насмешливыми губами и растрепанными бакенбардами – что в то время уже считалось как бы некоторым поползновением к либерализму – переводчик «Фауста», *Губер;* худой и нескладно сложенный человек чахоточной комплекции, с нерешительной улыбкой на губах и во взоре, с узким, но красивым и симпатическим лбом, *Гребенка* – враг Полевого (он на него только что написал пасквиль вроде сказки; в ней *кузнечик полевой* играл очень неблаговидную роль), – автор повестей и юмористических рассказов с малороссийским оттенком, в которых чуть заметно сочилась своеобразная теплая струйка; наконец, наш добрейший и незабвенный *князь Одоевский.* Этого описывать нечего: всякий помнит его благообразные черты, таинственный и приветливый взгляд, детски милый смех и добродушную торжественность… В комнате находился еще один человек. Одетый в длиннополый двухбортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом, он сидел в уголку, скромно подобрав ноги, и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам. Человек этот поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно; в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское – вроде тех лиц, которые часто встречаются у образованных самоучек из дворовых и мещан. Замечательно, что эти лица, в противность тому, что, по-видимому, следовало бы ожидать, редко отличаются энергией, а, напротив, почти всегда носят отпечаток робкой мягкости и грустного раздумья… Это был поэт *Кольцов.*

* * *

С точностью не могу теперь припомнить, о чем в тот вечер шел разговор; но он не отличался ни особенной живостью, ни особенной глубиной и шириной поднимаемых вопросов. Речь касалась то литературы, то светских и служебных новостей – и только. Раза два она приняла военный и патриотический колорит, вероятно, благодаря присутствию трех мундиров. Время было тогда очень уже смирное. Правительственная сфера, особенно в Петербурге, захватывала и покоряла себе все. А между тем та эпоха останется памятной в истории нашего духовного развития… С тех пор прошло с лишком тридцать лет, но мы все еще живем под веянием и в тени того, что началось тогда; мы еще не произвели ничего равносильного. А именно: весною только что протекшего (1836) года был дал в первый раз «Ревизор», а

несколько недель спустя, в феврале или марте 1837 года, – «Жизнь за царя» [3] . Пушкин был еще жив, в полном расцвете сил и, по всем вероятностям, ему предстояло много лет деятельности… Ходили темные слухи о некоторых превосходных произведениях, которые он берег в своем портфеле. Эти слухи побуждали любителей словесности подписываться – в ограниченном, впрочем, числе – на «Современник»; но, правду говоря, не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики… Марлинский все еще слыл любимейшим писателем, барон Брамбеус царствовал, «Большой выход у Сатаны» почитался верхом совершенства, плодом чуть не вольтеровского гения, а критический отдел в «Библиотеке для чтения» – образцом остроумия и вкуса; на Кукольника взирали с надеждой и почтением, хотя и находили, что «Рука всевышнего» не могла идти в сравнение с «Торквато Тассо», – а Бенедиктова заучивали наизусть [4] . Между прочим, в тот вечер, о котором я завел речь, Гребенка прочел, по просьбе хозяина, одно из последних стихотворений Бенедиктова. Время, повторяю, было смирное по духу и трескучее по внешности, и разговоры подлаживались под господствовавший тон; но таланты несомненные, сильные таланты действительно были и оставили глубокий след. Теперь на наших глазах совершается факт противоположный: общий уровень значительно поднялся; но таланты – и реже и слабее.

* * *

Первым из общества удалился Воейков; он еще не перешел порога комнаты, как уже Карлгоф принялся читать прерывавшимся от волнения голосом эпиграмму против него… «Поэт-идеалист и мечтатель по преимуществу», как величал себя Карлгоф, видно, не мог забыть посвященное ему и действительно жестокое четверостишие в «Сумасшедшем доме». Скобелев также скоро откланялся, истощив небогатый запас своих прибауточек. Губер начал жаловаться на цензуру. Эта тема часто вращалась в тогдашних литературных беседах… Да и как могло быть иначе! Всем известны анекдоты о «вольном духе», о «лжепророке» и т. д.; но едва ли кто из теперешних людей может составить себе понятие о том, какому ежеминутному и повсеместному рабству подвергалась печатная мысль [5] . Литератор – кто бы он ни был – не мог не чувствовать себя чем-то вроде контрабандиста. Разговор перешел к Гоголю, который находился за границей; но Белинский тогда едва начинал свою критическую карьеру – никто еще не пытался разъяснить русской публике значение Гоголя, в

творениях которого оракул «Библиотеки для чтения» видел один грязный малороссийский жарт. Помнится, все ограничилось тем, что Владиславлев с похвалой цитировал из «Ревизора» фразу: «Не по чину берешь!» – и при этом сделал движение рукою, как будто поймал муху; как теперь вижу взмах этой руки в голубом обшлаге – и знаменательный взгляд, которым все обменялись. Хозяин дома сказал несколько слов о Жуковском, об его переводе «Ундины», который появился около того времени роскошным изданием, с рисунками – если не ошибаюсь – графа Толстого; он упомянул также о другом Жуковском, весьма слабом стихотворце, недавно с громом и треском выступившем в «Библиотеке для чтения» под псевдонимом Бернета; о графине Растопчиной, о г. Тимофееве, даже о г. Крешеве было произнесено слова два, так как они все писали стихи, а писать стихи тогда еще считалось делом важным. Плетнев стал было просить Кольцова прочесть свою последнюю думу (чуть ли не «Божий мир»); но тот чрезвычайно сконфузился и принял такой растерянный вид, что Петр Александрович не настаивал. Повторяю еще раз: на всей нашей беседе лежал оттенок скромности и смирения; она происходила в те времена, которые покойный Аполлон Григорьев прозвал допотопными. Общество еще помнило удар, обрушившийся на самых видных его представителей лет двенадцать перед тем; и изо всего того, что проснулось в нем впоследствии, особенно после 55-го года, ничего далее не шевелилось, а только бродило – глубоко, но смутно – в некоторых молодых умах. Литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими столь же и более важными проявлениями их, не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; а была словесность – и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали.

* * *

В двенадцатом часу вечера, почти после всех, я вышел в переднюю вместе с Кольцовым, которому предложил довезти его до дому, – у меня были сани. Он согласился – и всю дорогу покашливал и кутался в свою худую шубенку. Я его спросил, зачем он не захотел прочесть свою думу… «Что же это я стал бы читать-с, – отвечал он с досадой, – тут Александр Сергеич только что вышел, а я бы читать стал! Помилуйте-с!» Кольцов благоговел перед Пушкиным. Мне самому мой вопрос показался неуместным; и действительно: как бы этот робкий человек, с такой смиренной

наружностью, стал бы из уголка декламировать:

*Отец света – вечность,*
*Сын вечности – сила;*
*Дух силы – есть жизнь —*
*Мир жизнью кипит?!! и т. д.*

На угле переулка, в котором он жил, – он вышел из саней, торопливо застегнул полость и, все покашливая и кутаясь в шубу, потонул в морозной мгле петербургской январской ночи. Я с ним больше не встречался.

* * *

Скажу несколько слов о самом Петре Александровиче. Как профессор русской литературы он не отличался большими сведениями; ученый багаж его был весьма легок; зато он искренно любил «свой предмет», обладал несколько робким, но чистым и тонким вкусом и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное: он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен, – умел заинтересовать их. Он не внушал студентам никаких преувеличенных чувств, ничего подобного тому, что возбуждал в них, например, Грановский; да и повода к тому не было – non hie erat locus… [6] Он тоже был очень смирен; но его любили. Притом его – как человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего Онегина, – окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали стихи: «Не мысля гордый свет забавить», и т. д.

И действительно: Петр Александрович подходил под портрет, набросанный поэтом: это не был обычный комплимент, которым так часто украшаются посвящения. Кто изучил Плетнева, не мог не признать в нем

*Души прекрасной,*
*Святой исполненной мечты [7] ,*
*Поэзии живой и ясной,*
*Высоких дум и простоты.*

Он также принадлежал к эпохе, ныне безвозвратно прошедшей: это был наставник старого времени, словесник, не ученый, но по-своему – мудрый. Кроткая тишина его обращения, его речей, его движений не мешала ему быть проницательным и даже тонким; но тонкость эта никогда не доходила до хитрости,

до лукавства; да и обстоятельства так сложились, что он в хитрости не нуждался: все, что он желал, – медленно, но неотразимо как бы плыло ему в руки; и он, покидая жизнь, мог сказать, что насладился ею вполне, лучше чем вполне – в меру. Такого рода наслаждение надежнее всякого другого; древние греки недаром говорили, что последний и высший дар богов человеку – чувство меры. *Эта* сторона античного духа в нем отразилась – и он ей особенно сочувствовал; *другие* ему были закрыты. Он не обладал никаким, так называемым, «творческим» талантом; и он сам хорошо это знал: главное свойство его ума – трезвая ясность – не могла изменить ему, когда дело шло о разборе собственной личности. «Красок у меня нет, – жаловался он мне однажды, – все выходит серо, и потому я не могу даже с точностью передать то, что я видел и посреди чего жил». Для критика – в воспитательном, в отрицательном значении слова – ему недоставало энергии, огня, настойчивости; прямо говоря – мужества. Он не был рожден бойцом. Пыль и дым битвы для его гадливой и чистоплотной натуры были столь же неприятны, как и сама опасность, которой он мог подвергнуться в рядах сражавшихся. Притом его положение в обществе, его связи с двором так же отдаляли его от подобной роли – роли критика-бойца, как и собственная его натура. Оживленное созерцание, участие искреннее, незыблемая твердость дружеских чувств и радостное поклонение поэтическому – вот весь Плетнев. Он вполне выразился в своих малочисленных сочинениях, написанных языком образцовым, – хотя немного бледным.

Он был прекрасный семьянин и во второй своей супруге, в детях своих нашел все нужное для истинного счастия. Мне пришлось раза два встречаться с ним за границей: расстроенное здоровье заставило его покинуть Петербург и свою ректорскую должность; в последний раз я видел его в Париже, незадолго до его кончины. Он совершенно безропотно и даже весело переносил свою весьма тягостную и несносную болезнь. «Я знаю, что я скоро должен умереть, – говорил он мне, – и, кроме благодарности судьбе, ничего не чувствую; пожил я довольно, видел и испытал много хорошего, знал прекрасных людей; чего же больше? Надо и честь знать!» И на смерти его, как я потом слышал, лежал тот же отпечаток душевной тишины и покорности.

* * *

Я любил беседовать с ним. До самой старости он сохранил почти детскую свежесть впечатлений и, как в молодые годы,

*умилялся* перед красотою: он и тогда не *восторгался* ею. Он не расставался с дорогими воспоминаниями своей жизни; он лелеял их, он трогательно гордился ими. Рассказывать о Пушкине, о Жуковском – было для него праздником. И любовь к родной словесности, к родному языку, к самому его звуку не охладела в нем; его коренное, чисто русское происхождение сказывалось и в этом: он был, как известно, из духовного звания. Этому же происхождению приписываю я его елейность, а может быть, и житейскую его мудрость. Он с прежним участием слушал произведения наших новых писателей – и произносил свой суд, не всегда глубокий, но почти всегда верный и, при всей мягкости форм, неуклонно согласный с теми началами, которым он никогда не изменял в деле поэзии и искусства. Студенческие «истории», случившиеся во время его отсутствия за границей, глубоко его огорчили – глубже, чем я ожидал, зная его характер; он скорбел о своем «бедном» университете, и осуждение его падало не на одних молодых людей…

Подобные личности теперь уже попадаются редко; не потому, чтобы в них было нечто необыкновенное, а потому, что время изменилось. Полагаю, что читатель не попеняет на меня за то, что я остановил его внимание на одной из них – на почтенном и благодушном словеснике старого закала.

*1868*

Примечания

1

Большой промежуток времени! (лат.)

2

«довольно» ( *ит* .)

3

Я находился на обоих представлениях – и, сознаюсь откровенно, не понял значения того, что совершалось перед моими глазами. В «Ревизоре» я, по крайней мере, много смеялся, как и вся публика. В «Жизни за царя» я просто скучал. Правда, голос Воробьевой (Петровой), которой я незадолго перед тем восхищался в «Семирамиде», уже надломился, а г-жа Степанова (Антонида) визжала сверхъестественно… Но музыку Глинки я все-таки должен бы был понять.

4

Об этом настроении публики, вообще об этой эпохе будет говорено подробнее в последующем этюде: «В.Г.Белинский».

5

Цензорские помарки доходили до каприза, до игривости; у меня долго хранился корректурный лист, на котором цензор К. вычеркнул слова: «эта девушка была, как цветок» – заменил их

следующими (и все теми же красными чернилами!): «эта девица походила на пышную розу».

6

это было не к месту (лат.)

7

Значение этого стиха неясно; он может показаться более или менее романтической вставкой, тем, что французы называют une cheville; но в самой своей неясности он верно характеризует то нечто, неопределенное, но хорошее и благородное, которое многие лучшие люди того времени носили в своих сердцах.